

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ГИРЕНОК



Заведующий кафедрой философской антропологии и комплексного изучения человека философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Доктор философских наук, профессор. Постоянный автор альманаха.

ФИЛОСОФИЯ КАК ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛОВ ВОЗМОЖНОСТИ МЫСЛИТЬ ИНАЧЕ*

1. Забавы современной философии

Современная философия представляет собой довольно забавное зрелище. В ней есть несколько динозавров и еще есть охотники на этих динозавров. Динозавры погибают, охотники остаются. Умер Деррида, погиб Делез. И ничего. В ИФРАНЕ могильная тишина. Отдали Богу душу Бибахин, Бородай и Зиновьев. Слабое шевеление.

Философы, как маленькие дети, привыкли играть с любимыми понятиями. Забавляясь, они, как елку, украшали истину, пели очаровывающие песни субъекту, наряжали в разноцветные одеяния реальность. Но тут пришли злые дяди постмодернисты и отобрали у них эти игрушки. Рассердились философы, подняв страшный вой. Возненавидели они постмодернистов, ругая их последними словами за то, что они придумали какую-то философию без субъекта, без истины, без реальности, без сущности.

Я не постмодернист. Я археоавангардист. Но сегодня я хочу утешить тех, кто любит играть в классику. Бог с вами, играйте. Мы подарим вам новые игрушки. Только не мешайте нам работать. Умерьте свой догматизм. Постмодернистов же я хочу поблагодарить за то, что они сделали несколько великих вещей.

Первое. Они научили нас различать мыслящее и разумное. Разумное – не значит мыслящее. Таков девиз современной философии. Постмодернисты поставили под сомнение весь тот идейный багаж, который накопила Европа и тем самым ослабила притягательность европейского интеллектуального пространства. Постмодернизм дал нам редкий шанс быть самими собой, самоопределиться.

Второе. Теперь очевидно, что античный проект философии и современный радикально отличаются тем, что в античности стремились к разумному, сегодня же мы обеспокоены сохранением своей мыслящей природы. Сегодня мы знаем, что быть разумным – не значит мыслить. А мыслить – не значит быть разумным.

* Лекция, прочитанная на философском факультете МГУ 18-го сентября 2006 г.

Третье. Кто хочет мыслить, тот должен перестать играть в классику, рассуждая о сущностях, законах, субстанциях и прочем. Не основания, а пределы возможного интересуют нас сегодня. То, что есть, на пределе перестает быть тем, что оно есть. В пространстве предела мышление носит не понятийный характер, а парадоксальный. Здесь нельзя сохранить ясный взгляд субъекта. Здесь нет ни истины, ни лжи. Приблизившись к пределу возможного, нельзя следовать логике бинарных отношений. Здесь ты, как сплавщик леса, прыгаешь с бревна на бревно, а не подчиняешься априорным предписаниям разума.

Четвертое. Постмодернизм – это не мода, которая приходит и уходит. Это отчаянный жест европейских интеллектуалов, открывший нам новый горизонт мысли. Лишь самые безнадежные поклонники рациональности все еще продолжают строить систему, лишённую противоречий. Они ищут то звено в цепи знания, которое превратит их знание в систему. Мы же ищем то, что не позволяет системе стать системой.

До сих пор философия существовала в трех измерениях. Она могла быть либо проективной или деятельной, как у Фихте и Щедровицкого. И тогда в ней доминировал субъект. Либо же она была опытной, как у Шопенгауэра или у Мамардашвили. И тогда в ней объект доминировал над субъектом. Либо же она была половинчатой, как у Декарта и Канта. И тогда в ней количество действий приравнивалось к количеству испытаний и тем самым достигалось подобие какого-то равновесия субстанций.

В таком сонном состоянии философия могла бы просуществовать еще очень долго. Если бы не одно обстоятельство. Она перестала кому-либо быть нужной. Ею перестали интересоваться не только образованные люди, но даже еврейские девушки. Философия еще по инерции что-то говорила, но никому ничего уже не могла сказать. Поэтому ее сдали в архив, отправили на склад, как хлам, как старую ненужную вещь. Тут же нашлись историки, которые составили из философов, как из бабочек, гербарий, пронумеровали их, подшили к делу, и эти дела стали показывать на факультете ненужных профессий.

Поскольку философии не стало, а философов еще было много, постольку им надо было чем-то заняться. Самые умные стали экспертами, убеждающими лежачих в том, что все, что существует, существует как текст. А поскольку текст – это лабиринт, или, как выразился один писатель-отщепенец, бесконечный тупик, постольку в нем без специальных знаний не обойтись. Эксперты разработали технологию чтения и стали мастерами игры в бисер.

Другие же занялись искусством, пошли к художникам, полагая, что люди искусства сообщены с миром иного и их устами говорит высшая истина. А поскольку самим философам сказать нечего, постольку часть из них толпится около поэтов и художников, слушая их и толкуя. Среди философов появились мастера по телам без локализации, теоретики фотографий, специалисты по кино и визуальной антропологии, дизайнеры поверхности и визажисты образов. Комизм положения состоит в том, что и художникам уже сказать нечего. Никто через него ничего не говорит. Он самовыражается. Искусство стало производством, эстетика – технологией, а художник – инженером. Режиссер строит спектакль, как инженер строит мост. Авангард расширил границы искусства до предела, до невозможного. Оно вышло из музеев, концертных залов и переместилось на улицу, на обложки глянцевого журналов, в дома, переходы метро, в места массовых скоплений людей.

Большая часть философов стала историками и методологами, которые, как нищие на паперти, встали около храма науки, полагая, что им что-нибудь да перепадет от ее щедрот. Продвинутая часть интеллектуалов переместилась поближе к политике, к

власти, создавая информационные шумы. Политтехнологи размножились, как крысы, став членами ордена золотого тельца.

Темное облако скуки накрыло Галилею философии.

Философия сегодня забавляется тем, что она продолжает мыслить мыслимое, встретившись с немислимым.

2. О входном билете в философию

Греки научили нас мыслить мыслимое, предупредив, что мыслить немислимое нельзя. Если мы это сделаем, то станем жалкими аутистами, а не успешными реалистами. Все это значит, что они тождество бытия и мышления сделали входным билетом в философию. Если у тебя есть билет, то входи в круг посвященных, не будь дураком и верь, что мир устроен так, что взаимодействием его частей воспроизводится и мир, и мысль в мире. И у тебя есть место в этом мире, за которое нужно заплатить тем, что границы твоего сознания будут всегда, как говорил Витгенштейн, очерчены языком. И ты всегда сможешь сказать то, что хочешь.

Но человек понимает больше, чем язык может ему это позволить выразить. Иногда слова не нужны нам для понимания. А это значит, что не границы сознания очерчены языком, а границы языка очерчены сознанием. И к этому сознанию мы обращаемся за помощью, когда нам нужно помислить немислимое.

Поскольку мысль – это всегда новая мысль, а бытие – это всегда одно и то же бытие, постольку мышление и бытие не могут встретиться. И мысль может начинать себя всякий раз заново без оглядки на бытие. В итоге входным билетом в современную философию становится не тождество бытия и мышления, а идея самоактуализации самости. Но только пусть не говорят нам, что мы субъективные идеалисты, ибо мы скажем в ответ: лучше самость без «я», чем «я» без самости.

3. Зачем нам самость без «я»

Самость без «я» – это мыслящий хаос, мыслящая, но не разумная субстанция.

Сегодня честный человек поставит в центр не местоимение «я», не его активную форму, а пассивный оборот, страдательный залог. Он не скажет: я вижу деревья, он скажет: это они смотрят на меня. Правильнее говорить, не я почувствовал, а мной что-то почувствовало себя.

Несовершенный вид действия оттесняет совершенный вид. Ускользающее «что» обесмысливает предметность, ибо никто не может сказать, что он сделал. Ты можешь говорить только о том, что находишь себя в режиме делания. Ты больше не субъект, а значит и не мыслитель. И самовыражаться тебе ни к чему.

Если кто-то все же говорит – «я думаю», то это не значит, что в этот момент сознание встретилось с языком, а это значит, что «я» встало на место «оно». В тебе подумала себя какая-то инстанция. И ты торопишься заменить ее рефлексивным штампом, ибо «я» никогда не думает, оно только рефлектирует. Нельзя одновременно думать и рефлектировать.

Освободив себя от надзирающего ока «я», современной философии удалось приостановить действие трансцендентальной иллюзии, суть которой состоит в том, что она возможное наделяет преимуществами по отношению к наличному.

Трансцендентализм вообще оправдывает агрессию условного по отношению к обусловленному. И эта агрессия будет совершаться до тех пор, пока действует магия реальности, пока мы не избавимся от порядка, навязываемого бытием. И, следовательно, пока мы не откроем горизонт актуализации действия нереального, невозможного, которое представлено нашей самостью. Самость без «я» – это невозможная фактичность или, что то же самое, актуальная нереальность. Самость

виртуальна, в ней фактическое всегда равно возможному. Самость без «я» нам нужна для того, чтобы был мыслящий хаос, чтобы не возникло разумное, но не мыслящее начало.

Распад «я» лишает феноменологию причины ее существования. Феноменология имеет смысл при сопоставлении возможного и наличного в порядке реальности. Если актуальное выходит за пределы реальности, то опыт выходит за пределы вербального. Современная философия отказывается понимать опыт как всегда вербальный опыт, а сознание как непременно языковое сознание.

Чтобы кристаллизовались смыслы актуального, требуется не Фрейд, не психоанализ речи, а визуализация и театрализация невозможного, т.е. внутреннего опыта. Наши сны не столько говорят, сколько актуализируют невозможное, пересекая пределы внутреннего опыта. Предельным пунктом внутреннего опыта являются так называемые симулякры, беспредметность которых разрушает объективирующие функции сознания, лишает смысла его интенциональную структуру. Сознание – это уже не целесообразность без цели, не надежда, структурирующая мир, а чистая самость, спонтанное раздражение себя своими галлюцинациями. Применительно к «самости без я» бессмысленно говорить, вышла она как бессознательное на поверхность или не вышла, зацепилась она за слово или она зацепилась за случайную материю. Бессознательное – это неудачное сознание. Самость же – это не вместилище мыслей и чувств, удач и неудач сознания. Это присутствие себя по отношению к себе. Это напряжение, которое, как морская волна, исчезает и вновь появляется. Самость обладает свойством самоактуализации. Благодаря этому свойству она существует вне и помимо индивидуальных усилий человека стать человеком. В самости можно пребывать или не прибывать. В ней возникают структуры без всякого воздействия извне. Сознание является результатом ее самоактуализации, а не высшей степенью возможного в составе реального. Одно и то же множество эмоциональных, спонтанно действующих элементов есть актуализация подобного внутри самости.

Когда я бодрствую, я – автомат, мои действия ускользают от меня самого. Например, я читаю, но я не понимаю прочитанное, то есть мои действия разворачиваются в пространстве сознания-языка и не разворачиваются в пространстве самости, действия себя на самого себя. Поэтому я могу смотреть и не видеть, слушать и не слышать.

Сознание – это, как хорошо сказал Мамардашвили, не глубинные структуры языка и не последовательность внешних действий. Это неожиданное «вдруг», это твое взбрыкивание, когда от тебя ждали одно, а ты предложил другое. И в этом предложении находится твоя свобода и твое сознание.

В эмоциональном воздействии на себя всегда есть уже-сознание. В воздействии на другого образуется его знак. Уже-сознание – это внутреннее знание, которое достигается серией уподоблений с невозможным, а внешнее знание достигается приспособлением к реальности.

4. Почему философия нуждается не в опыте, а в воображении

Сегодня еще живут люди, которые всерьез полагают, что только посредством соотношения с западной мыслью можно обеспечить себе пребывание в сфере мыслительной культуры. Но западная мысль основана на таких понятиях, как реальность, бытие, сущность, субъект. Отказ от этих понятий, их переосмысление составляет содержание тех способов, которыми существует современная философия. То есть, современная философия доопределяет себя вдали от центра устойчивости, именуемого «западной мыслью».

Философия перестала быть картиной мира. Она не отражает мир, а изобретает его. Не царское это дело – обобщать случайные содержания наук. Ее дело – бродить в поисках пределов возможного.

Предел возможного – невозможное. Предел реального – нереальное. Возможное и реальное – интеллектуальные двойняшки, близнецы-братья. За их пределами находится невозможное и гиперреальное. С реальным сопоставим опыт. С гиперреальным – воображение. Опыт всегда идет по следам воображения.

Современная философия нуждается не в опыте, а в воображении, потому что опыт линейно упорядочен, вербально выразим. Опыту нужна память. Воображению нужна галлюцинация, вневременная одномоментность, то, что не раскладывается в последовательности знаков. Поэтому любой текст, даже если он проглотил бесконечность, является ущербным, ибо в нем нет представленности целого. В нем есть плоскость, но нет объемности воображения. Глупо приравнивать мир к тексту. Мир – это не текст, а объективированная галлюцинация. Если когда-нибудь философия прекратит поиск пределов мысли, то она перестанет мыслить, превратившись в банальность, в коммуникативный шум. От такой философии, как черт от ладана, будут бежать все порядочные люди.

Философия – это, конечно, имена. Нет имен – нет философии. Поэтому нам нужны имена. И глупо искать философов в институтах, энциклопедиях, учебниках и словарях. Ее там нет. Социальная институция – это морг мысли. Прибежище для анонима, для культурологов, то есть любителей «зонтиковедения».

А поскольку анонимной философии не существует, постольку нет причин для существования школ и традиций. Хотя они иногда и существуют. Но относятся они уже не к философии, а к культуре, которая всегда анонимна и невменяема. Философская школа – это прежде всего точка расхождения ума и безумия, место умирания философии.

Мысль – это не замена одних знаков другими, не поиск одного и того же. В мысли соединяются воображение и опыт. Предел мысли – в невысказанном, в безумном или, как хорошо сказали обэриуты, в заумном. Поэтому история философии – это не история ума, а археография связей опыта и воображения, ума и безумия. Многие «умные вещи» не могут философией восприниматься всерьез в силу их недостаточной безумности, в силу того, что в них мыслится мыслимое, возможное и не мыслится невозможное, невысказанное.

5. Почему ум тоскует по безумию?

Сам по себе ум осторожен. У него есть социальный статус, ученая степень. Он знает, что можно, а что нельзя. Ум – филистер, который готов все оправдать задним числом.

Безумие опасно. Его боятся. От него бегут, потому что оно не знает меры и нарушает социальный порядок. Безумие резвится, где хочет, не считаясь с правилами публичности и логикой. В безумии мысль не соединена со словом, воображение – с опытом. В нем ум расплавлен страстью.

Проблема же состоит в том, что истоки ума находятся в безумии. Безумие – это не отсутствие ума. Это то, что может подарить себе ум. И поэтому куда бы ум ни пошел, он будет идти по пути, структура которого ведет к месту его рождения. И только заумь спасает ум от полного безумия, от полного разрыва между воображением и опытом, между словом и мыслью.

Любовным трением ума о безумие создавалась мысль. Любой философ освобождает безумие, таящееся в уме, и одновременно прививает ум безумию. Это не нравится власти и русской интеллигенции, которая пытается отделить ум от безумия, от

необходимости мыслить невысказанное. Власть сажает безумие, как злую собаку, на цепь, изолирует его в доме для дураков. И поэтому власть всегда глупа. Причину глупости всякой власти нас научил понимать М.Фуко, согласно которому ум – это безумие, которое философы приручили, сделали домашним. В русской философии я знаю два примера одомашнивания безумия. В одном случае – это Сергей Булгаков. В другом – Андрей Белый.

Когда-то Булгаков понял, что Карл Маркс не прав, что капитализм и земледелие несовместимы, что крестьяне – это не рабочие, а православные – это не протестанты. И написал книгу «Капитализм и земледелие». А затем два тома этой книги представил на Ученый совет как докторскую диссертацию по экономике. Но Маркс – это европейское светило, а Булгаков – никто, москвич, которая лает на слона. И Ученый совет приравнял его работу не к докторской, а к магистерской диссертации, ибо Булгаков хотел обеспечить свое пребывание в мысли без соотнесения с западной культурой. Булгаков поумнел, перестал критиковать европейских мыслителей и написал новую диссертацию под названием «Философия хозяйства». Смысл этой работы мало кто понял. Но докторскую степень по экономике Булгакову присудили. Хотя в ней мало было экономики и много рассуждений о всеединстве и софийности хозяйства.

В начале XX века в России все интеллигенты были марксистами. Как сегодня интеллигенты – постмодернисты. Но Андрей Белый не пошел на поводу у моды. Не стал называть себя марксистом без исследования марксизма. Он пошел в магазин, купил три тома «Капитала» и стал читать. Жить ему оставалось 8 лет. Это он знал мистериально. Из них три года ему нужно было отдать на изучение Маркса. Кроме этого, Белому нужно было написать один том по истории символизма, да еще один том поэзии, да еще проучить Блока, действовавшего ему на нервы. Подумал-подумал Белый и решил не изучать Маркса. Так Белый не стал марксистом. И это было единственно верное решение, ибо марксистов у нас много, а Белый один.

Марксизм без Маркса, фрейдизм без Фрейда, христианство без Христа – это как кофе без кофеина. Пустой знак, симулякр. И многие из нас сегодня вовлечены в этот обмен пустыми знаками, ибо скорость смены событий так велика, что смыслы нами не успевают извлекаться и мы ничего не успеваем понять. Так мы и живем в режиме неизвлеченных смыслов и расширяющихся симулятивных пустот культуры. Этой пустоте может противостоять только уже-понимание, но оно ограничено воздействием себя на самого себя. Чтобы достать из глубины смыслы уже-понимания, нужна визуализация теоретического дискурса, а также его театрализация. Ибо в них объект дан вместе с языком его понимания, т.е. объект дан в горизонте субъективирующего мышления. А это значит, что кризис понятийного мышления состоит в отделенности объекта от языка его понимания.

Ближайшим следствием визуализации и театрализации теоретического дискурса является изменение характера философии. Философия не может быть больше такой, какой она была еще в XX веке. Философия начинает осознавать себя как драматургию. У нее появляется сценарный план. Она должна упаковать себя в ясные минималистские формы. В философии слово начинает выходить за свои пределы, образуя философские просодии, то, чего нет в языке, но что мы понимаем. Что может нас радовать, печалить или веселить.

Сказанное философией может иметь смысл только на фоне несказанного, недоговоренного и одновременно на фоне сверхсказанного. Вот они-то и подлежат символизации. Тогда как понятия ограничиваются сказанным, вернее тем, что может сказаться в бесконечности. Итак, ум тоскует по безумию потому, что это его родина.

6. Почему история философии губит философию?

1. Предмет философии – сама философия. Суть философии состоит в ее самооговаривании. Но самооговор нельзя редуцировать к разговору, а философию нельзя свести к истории философии. Если история – это повествование, рассказ, то философия – это испытание пределов возможного. К сожалению, философия состоит из индивидуализированных, авторских знаков. Авторский знак – это не знак, а символ, который нельзя перевести на язык знаков. Если бы его можно было перевести, то тогда философию можно было бы свести к истории философии. Но, слава Богу, искусствоведы не могут заменить искусство, а историки философии – философию.

Поэтому Гегель, например, по-прежнему воспринимается не как историк философии, хотя он написал историю философии. Гегель – философ-иллюзионист. Он галлюцинирует персонажами из истории, раздражает себя ими, возбуждается и мнит себя Наполеоном. Историк же создает оптическую иллюзию, заставляющую видеть историю мысли в том, что мыслью не является.

Историк философии появился недавно. Ему исполнилось всего каких-нибудь 150 лет. Но социальная роль его велика, хотя он и является хранителем того, к чему не имеет никакого отношения. Поэтому, например, Диоген Лаэртский – это не философ, а свидетель, кладовщик идей и текстов.

Когда Мамардашвили читает Канта, он страшно далек от профессии историка. Для него Кант – это не текст, а набор метафор, универсальная индивидуальность. Если Делез пересказывает Лейбница, то не потому что он историк философии. Он философ, то есть пионер-мичуринец, человек, который делает прививки одного смысла другому, заставляя Лейбница говорить не то, что он сказал, а то, что подумалось Делезу. Делез приводит в движение Лейбница, оживляет его, заставляя его быть в качестве суррогатной матери своих идей. И мы слышим живой, а не могильный голос Лейбница. Когда же Лейбница читает Куно Фишер, он создает из него кладбище мыслей. Мы слышим голос только Фишера. Лейбниц молчит.

Фишер – историк философии, а не философ. Он не прививает смыслы. Он их как орехи выколупливает, он мошенничает, то есть достает из текста то, что туда подложил. Историк создает оптическую иллюзию, заставляющую видеть мысль в том, что мыслью не является. Вывод: философию понимают только философией, а не историей. Историки знают, но не понимают. Знание убивает понимание, рефлексия убивает мысль.

2. История – чистая репрезентация философии, означающее без означаемого. Это присутствие, которое не указывает на отсутствие. Немногие почувствовали, как совершился переход из пространства мысли в пространство текста, производство и потребление которого может существовать, в свою очередь, лишь имитируя мысль, создавая иллюзию ее существования. История философии ничем не отличается от истории пуговиц и шляп.

Историк производит симулякры, которые, как ракушки, налипают на интеллигентное тело философии и мучают его, паразитируя на нем, расширяя симулятивные пустоты культуры. Историкам философии не нужна больше философия. Им нужны детали, обстановка. Им надоело быть посредниками и проводниками к истине, причиной которой они не являются. Они хотят быть поверенными истины, ее творцами. Сообщение о философии они сделали философией. Но пусть они не мешают тем, кто черпает из источников самого разума. Пусть они, как говорил Кант, подождут, пока мы делаем свое дело, чтобы потом возвестить миру о случившемся. Историк – страж культуры, а философия – занятие антикультурное. Историки, презрев необходимость искать пределы мысли, взяли реванш, навеяв золотой сон культуры на неискушенные умы.

3. Если бы философия говорила о том, что лежит за пределами философии, то она говорила бы не своим голосом. Однажды философия не удержалась, сфальшивила, заговорила не своим голосом и в результате этой ошибки возникла наука. Еще раз ошиблась, и возникла теология. Ошибки философии упоительно плодотворны. Но не об этом сейчас речь.

Свой голос был у философии только в юности, в обворожительной античности, в момент, когда светлый день возрождения пришел на смену ночи греческого средневековья. В этот день у греков появился малоазийский акцент. Гомера потеснил Фалес, а «Илиаду» стали затмевать разговоры философов, пришедших с берегов Малой Азии.

Чарующий голос философии стал искажаться уже у римлян. Типичный пример искажения – Цицерон. А затем он у нее и вовсе пропал.

Тысячу лет философия испытывала репрессии всемогущей теологии. Затем власть переменилась. Теолога сменил ученый. Авторитаризм науки раздавил хрупкую энтелехию философии, и она стала наукообразной. В ней появилось что-то холодное, металлическое, фабричное.

4. У философии нет отличного от нее предмета, нет своего языка и нет специального метода. Представления о методе, языке и предмете философии выдумали преподаватели философии. А поскольку преподаватель говорит анонимно, не от своего имени, а от имени своей дисциплины, постольку он не философ, а дисциплинарный историк.

5. Беспредметность философии ставит под вопрос любое знание, которое всегда случайно. Философия ничего содержательного сказать не может. Но это от нее никто и не требует. Важно, что она бытийствует в момент исполнения своего бытия, в момент своего говорения. И это ее говорение не имеет внутри себя смены состояний. Философия – это дрящущая вечность выговариваемого ею смысла. Это как бы уже пройденная бесконечность. Историк измеряет бесконечность конечными началами. Ему тяжело нести философские смыслы, бесконечность надламывает его, и он отказывается от нее, хватаясь за спасительную соломинку случайного исторического знания «здесь и сейчас».

6. Философия не нормирована, своевольна. Историк философии – транслятор норм. Это лазутчик культуры, соглядатай власти.

Ему не нужно длить немоту бесконечного смысла и поэтому он желает прервать сомооговаривание философии, ее сакральное бормотание. Он хочет заставить ее замолчать, чтобы дать себе слово. Для историка философия хороша, когда она молчит.

Историк философии – это душегуб философии, тот, кто втайне лелеет мысль о ее смерти и уже видит себя ее патологоанатомом. Для него философия была всегда вчера, в прошлом. Поэтому последнее слово историк оставляет за собой. Любая история философии – это набор некрологов и медицинских диагнозов идей.

7. Философия не системна, фрагментарна. Ее мышление парадоксально. Ее мысль не завершается знанием. Она о невозможном. Чтобы поместить философию в представление о философии, ее нужно упростить. Историк философии, создавая схемы упрощения, ищет то, что позволяет мысли завершиться, стать системой, то есть умереть.

Без философии, без ее безумия человек задохнется в скорлупе своей субъективности. Историк лишает философию ее безумия. Философ – это «волонтер духа», способный разогреть себя до плазменного состояния своей самости. Историк видит в философии какие-то знания о мире. Но философия – это не знания, а один из важных органов самопорождения человека, орудие самосоздания человеком в себе человеческого.

Философия – это наше уже-сознание. История философии – это событие языка, шум которого заглушает сознание.

7. Почему в современном мире мыслит не мыслитель, а менеджер?

1. В рассказе Гофмана «Угловая комната» парализованный человек пытается научить здорового человека смотреть на тех, кто движется. Суть его визуальной антропологии состоит в отказе наблюдателя от движения, в уподоблении себя тому, кто разбит параличом.

Так вот мыслитель – это человек, сознательно потерявший способность двигаться. Это символический паралитик, наблюдающий за жизнью из угловой комнаты своего «я».

Все мы парализованы, когда сидим на лекции, на концерте, в театре, в библиотеке, в грузинском ресторанчике на Волхонке. Но не все мы при этом попадаем в угловую комнату своего «я», пребывая только зрителями или слушателями, а не участниками индуцированного внутри нас самих процесса мысли.

2. Тот, кто мыслит, производит сегодня не мысли, а тексты. Текст, в свою очередь, произведен от публикации. Мысль же не зависит от того, выставлена она на всеобщее обозрение или нет.

Публикация – это социальный акт, затрагивающий множество институций, ролей и статусов.

Публикация может иметь стратегию, но она лишена самости, как уют лишен души.

Крах позиции мыслителя говорит о том, что глупо выглядит тот, кто все еще пишет в стол, кто надеется, что потом, когда-нибудь его мысли будут найдены и обнародованы. Мысль – это не то, что подумал мыслитель. Это то, что опубликовано менеджером в качестве мысли.

Поэтому мыслит не мыслитель, а менеджер мысли. Текст же – это убийца мысли. Понимать мир как текст – значит накладывать запрет на внутреннее знание, на то, чтобы кто-то пытался освободить ум от своего безумия.

3. Что значит мыслить? И так ли уж необходимо сохранять пространство мысли? Мыслил ли Раскольников, когда брал в руки топор и шел убивать старуху? Мыслил ли Коперник, пришедший к выводу, что Земля вращается вокруг Солнца? Мыслил ли Галилей, когда отказался от этой мысли? Мыслью ли я, зажигая в сумерках лампу? Мыслит ли художник красками на полотне? Мыслит ли мошенник, обманывая свою жертву? Мыслит ли мой сосед, когда он с трудом подбирает слова для того, чтобы выразить смугу своей души?

Мысль – это простое, далее неразложимое действие. Оно, как атом, неделимо и дано сразу полностью и целиком. Например, вот мне грустно. Грусть – это мысль или не мысль? Грусть – это не мысль, это настроение, которое объясняется не указанием на какую-либо реальность вне ее, а аутистическим самовоздействием, раздражением себя. Для того, чтобы себя раздражать какой-то галлюцинацией, нужно сознание. То есть грусть развертывает себя в плане событийности и одновременно в плане сознания. Оно и событие, и сознание события. А это значит, что грустить – не значит мыслить. Но чтобы мыслить, нужно грустить. До сознания нет события грусти. А без эмоции нет сознания. Сознание нам нужно не для того, чтобы что-то отражать, а для того, чтобы воздействовать на себя при помощи образов и символов.

Грусть дана нам вместе с языком ее понимания. Когда мне грустно, я не ищу в словаре статью под названием «Грусть», чтобы узнать, что значит грустить. Грусть относится к уже-сознанию, к тому, что уже понятно. Чтобы мне было грустно, нужно, чтобы вообще была возможность самому действовать на себя до «я», без всякого «я».

Тождество типа «я есть грусть» в дальнейшем может быть заменено субъект-предикативной структурой «я грущу». Или «мне грустно». Затем я понимаю, что «мне грустно, потому что пришла осень». Но и в этот момент я не выхожу за пределы субъективирующего мышления. А вот когда я отделяю то, что развертывается в плане события, от того, что развертывается в плане сознания, я получаю чистый событийный ряд, который я познаю, но который не дан мне вместе с языком понимания. То, что осень пришла, никак тогда не связано с тем, что я грущу. Я вдруг оказываюсь в мире, в котором собаки бегают, кошки мяукают, а солнце всходит и заходит. И все это совершается вне связи со мной, на меня это не действует. Вернее, все это не связано с сознанием, с воздействием меня на самого себя. Собака лает, а мне и не грустно, и не весело. И вот этот мир я начинаю познавать, я начинаю его мыслить, оказываясь в мире суждений.

Себя можно чувствовать, а вот мир нужно мыслить.

Первые мысли были бессубъектными. Они не завершались знанием. Затем появились авторские мысли. Некоторые из них завершались знанием. А в конце концов появилось знание, не нуждающееся в мысли, давая понять, что мыслить и познавать – разные вещи, что мыслят невозможное, а познают то, что есть. Чувство всегда предваряет мысль, ибо чувство дает существование невозможному, а мысль воображает несуществующим то, что есть.

Если мысль дана нам сразу, полностью, в один момент времени, то одно суждение сменяется другим суждением. Но этот момент может сменить другой момент. Время – это поток, волны которого смывают следы мысли. И вот тогда появляются те, которые могут удержать себя в мысли, и те, которые не могут удержать. Первых называют мыслителями, вторых – свидетелями мысли. А еще есть пророки.

Вот, например, Пифия. Она без сомнения имеет отношение к мысли, воспроизводя ее в себе. Но разве она мыслит? Пифия разогревает свою самость до светоносного состояния, до утраты различий между своим телом и чужим, до неразличимости сна и яви, до уподобления идеи и материи. И начинает говорить. Вернее, она не говорит. Она предоставляет себя тому, что через нее говорит. Ею говорит само бытие или сам бог, что одно и то же.

Ценой косноязычия, сакрального шепота ею высказывается истина, то есть мысль, не завершенная знанием. Но Пифия не является субъектом относительно этой мысли. Пифия – не автор. Следовательно, она не может сказать: «Я мыслю». Ее истина, как контрапункт в музыке, дипластична и, следовательно, в ней целое представлено так, как оно есть само по себе в один момент времени.

Мысли Пифии сакральны, но не операциональны. Они складываются у нее вне субъект-объектной структуры, то есть в мистерии.

Греческие философы научились удерживать мысль. Но Пифия безумна в своей мудрости. Она уподобляет себя сверхреальному и пророчествует. А философы умны. Они рассуждают о реальности и различают, разлагая простоту целого до множественности.

Аналитические операции над частями целого лишь изредка прерываются у греков круговыми вихрями сознания, разогретого эмоциями. В эти моменты им являет себя абсурд, упакованный в неделимое целое, в образ, называемый позднее у Канта синтетическим априори. И в эти моменты они подобны Пифии. И все же усилиями греков мысль была отобрана у бытия и стала принадлежать мыслителю.

А поскольку мысль удерживается во времени благодаря усилиям того, кто мыслит, постольку появляется автор мысли, ее субъект. А это уже ни у кого не оставляет никаких сомнений относительно того, кто говорит. Пифия удерживает себя в мысли, а греческие философы пытаются удержать мысль.

Но тот, кто говорит, нуждается в языке, при помощи которого можно выражать свои представления о мире. Упорядочивая представления, располагая их в последовательности, язык заполнил все норы бытия. Все стало языком. Но язык различает, а не склеивает. То, что было целым, он дробит и рассыпает в последовательность слов, уходящую в бесконечность.

Крах позиции мыслителя начинается в момент осознания того, что все, что им может быть сказано, уже сказано. В этот момент начинают говорить о языке говорения, начинают самовыражаться или самопредставляться. Тем самым язык обнаруживает свою некреативность. Современная философия не может не отказаться от представлений о какой-то языковости мира. Есть только один язык. И это язык сознания.

Философия, отказавшись от «я», смещая его из центра, приводит нас к состоянию, в котором нам нужно уже не мыслить, а быть подобными Пифии. Поэтому современный философ не мыслит, а пророчествует. Он удерживает не мысль во времени, а себя в мысли. Он не эксперт, а Пифия, поэт, пророк.

8. Почему человек – это аутист, а не реалист

Кризис современной антропологии состоит в том, что философия, поставив под вопрос существование реальности, тем самым лишила смысла идею приспособления к ней. Теперь невозможно стало мыслить человека как высшую степень возможного, как то, что было подготовлено эволюцией. Человек – это не реалист, а аутист. Даже реалисты должны мыслиться как бывшие аутисты. А это значит, что представление о биосоциальной природе человека лишено смысла, поскольку не труд создал человека, а абсурд. Что в основе искусства лежит не принцип мимезиса, а бессмысленность реакцией галлюцинирующего сознания. Поэтому реализм в искусстве является неплодотворной метафорой искусства. В изобразительном искусстве важно не изображение, а воображение. Реальность – это продукт самоактуализации самости человека. И в этом смысле она ничем не отличается от сознания, которое появляется не для отражения мира, а для воздействия на самого себя, для причинения себе ущерба.

Внутренне знание, достигаемое симуляцией, предшествует внешнему знанию, получаемому имитацией. Симулируют невозможное. Имитируют наличное. Поэтому симулякр – это не подделка, а способ общения без сообщения. Аутист освобождает свое существование от необходимости отсылать к другому существованию. Человек относится к невозможному в составе наличного. При этом следует иметь в виду, что если возможное реализуется, то невозможное актуализируется.

Визуализация современной культуры и систем мышления свидетельствует о реанимации статуса эмоции, о поисках приемлемых механизмов включения самовоздействия человека. В этом самовоздействии «я» не играет или почти не играет никакой роли.

Каждый человек, теряя самость, цепляется за другого, за среду своей жизни. Реалист не может помыслить себя без другого, без социума. Если в коммуникации реалиста с другим, со средой обитания происходят разрывы, то у него меняется аппетит, дезорганизуется сон, появляются психоневрозы, нарушается связь с социальной средой.

Сосредоточенность на другом заменяет сосредоточенность на «я». Центром человека оказывается не его «я», не мистическое мы, а социум, множество поименованных других. У героев Платонова на месте «я» оказывается идея, революции, государство, партии. Эти идеи, как молитва, непрерывно творимая, пронизывают всего человека, окрашивая его личную жизнь, семейные отношения и сновидения.

Центрированный социумом человек должен быть в постоянном движении, в действии. Его работа не должна прекращаться ни на минуту. Даже во сне он должен работать. Его действия исключают всякую паузу, созерцание, размышление. Во всякое время он готов ко всему. В нем ценится эмоция риска, поиск нового, желание быть первым.

Реалист порывает отношения с тем, что его окружает. Он не может ни с кем иметь долгие близкие отношения. Внешнее становится неотчуждаемым от его «я». То есть между внешним и внутренним человеку нельзя поставить свое «я», ибо оно дано уже вместе с внешним. При разладе между «я» и средой происходит распад в «я», в душе. У реалиста нет самости. Он – человек-функция, его «я» сращено с его ролью.

«Я» – это просто мировая дыра, поименованное другим несуществование. Ибо в социуме каждому «я» присваивается имя, которое не является актом самонаименования. Именованное другим «я» говорит на языке другого. Собственная речь «я» пуста.

Язык создан не столько для обмана мысли, сколько для защиты внутреннего знания, т.е. уже сознания. Язык – это кожа на теле самости без «я», модель сознания. Поэтому в языке всегда два языка: ритуальный и практический.

Языком пользуются, а не живут. Язык – не «дом бытия», а проходной двор. Сам по себе язык – это великий немой. В нем нет ни мыслей, ни сознания. Без воображения в нем нельзя построить и двух предложений, а тем более связать их между собой.

Только речь соединяет язык и воображение, результатом которого является мышление. Поэтому мысли в речи не от языка, а от ума. Тогда же как посредством языка можно обмениваться мыслями. А это значит, что люди понимают друг друга только лишь потому, что никто не имеет своего языка. Непонимание – это факт присутствия сознания по отношению к самому себе. Поэтому либо мир заставит тебя говорить на своем языке, либо он заговорит на твоём языке.